

Сатья-Юга, день девятый



Леонид Поторак

Леонид Поторак

Сатья-Юга, день девятый

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Поторак Л.

Сатья-Юга, день девятый / Л. Поторак — «ЛитРес: Самиздат», 2015

Хороший кофе не должен бодрить. Он должен воскрешать из мёртвых. Впрочем, книга не об этом. Незаметно для всех наступил Золотой век, он же Эра милосердия, он же - Сатья-Юга. Незаметно - потому, что жизнь по неизвестным причинам не стала лучше. И разобраться с загадкой предстоит самому Шестикрылому Серафиму, начальнику над всеми небесными сферами. Впрочем, книга не об ангелах. Книга о рождении чудовища - из обычной жизни, из знакомой нам всем эпохи, из судьбы, в которой нет ничего примечательного. Книга о прекрасной и опасной вере в свою правоту. И немного - о поэзии и усталости. Это ироничная и интригующая история, в которой оказались связаны ларёк-"стекляшка" "Респект", некий печальный маркиз, живой шарф, советская женщина Оксана, Сатана, сорта трубочного табака, бесконечные обезьяны, горы снега и цитат из классиков. И будь оно всё, как любит говорить Серафим, по уши благословенно.

© Поторак Л., 2015

© ЛитРес: Самиздат, 2015

Где только снег, только зима – и никакой рекламы...

М.Щербаков «Сердце ангела».

Серафим

Хороший кофе не должен бодрить. Он должен воскрешать из мертвых.

Не то, чтобы я часто им пользовался.

Когда-то, не помню в каком году, мне понадобился человек, который никак не хотел воскреснуть, и помогла только чашка крепкого эспresso, да и та не сразу. С тех пор я справлялся своими силами. Не такое уж это частое дело – воскрешение из мертвых.

Латте, вспоминал я, стряхивая снег с ботинок. Латте, капучино, арабика, растворимая гадость. Что-то еще я помню?..

По обе стороны от дороги лежали огромные снежные валы, и, чтобы добраться до автобуса, пришлось через них лезть. Я извожился и, когда добрался-таки до заветного экипажа, вызывал у попутчиков произвольную жалость. Это было плохо, это было не по плану, и я чистил подвернутые брюки перчаткой, борясь с желанием исчезнуть из этого автобуса и слетать по прямому маршруту на Красина восемнадцать. Но вот стоял и чистил, потому что сказано было: узнать город. А с шефом я предпочитаю не спорить.

Я вообще с ним не спорю. Более того, я уже очень давно с ним не общался. Думаю, рано или поздно у всех отпадает необходимость общаться с ним. Когда, собираясь в энную дорогу, я обдумывал свои вопросы к начальству, вдруг ясно почувствовал, что знаю, каким будет ответ шефа. А что со следующим вопросом, подумал я, и небольшой внутренний шеф ответил мне.

Тогда я понял, что мне больше не нужно с ним разговаривать и его видеть.

Шеф сказал изнутри: надо узнать город. Он любил усложнять задачу, мой шеф. (А еще он напомнил, что в истории замешан кофе. О кофе я знал до смешного мало. После того человечка с эспresso никто из наших, насколько я помню, кофейными напитками не интересовался. И слышал-то я упоминания о них только вскользь. «Сегодня кофе как вино! – И долго в греческой кофейне гремели кости домино»¹. Хорошие стихи).

На третьей остановке меня выдавили из автобуса пробивающиеся к выходу студенты с тубусами. Я пропустил их и попытался втиснуться обратно, чем вызвал страшное возмущение объемной женщины лет пятидесяти:

–Вы следующего автобуса подождать не можете? Видите, что места нет!

–Есть, – я не дотянулся до поручня и уперся рукой в мутное окно (не выдавить бы!) – Я как раз тут стоял.

–Не врете, – сказала женщина с вялой укоризной. Ей было трудно стоять. – Вы только что зашли.

Тут стоило отвернуться и ехать дальше молча; с такими вот женщинами спорить еще хуже, чем с шефом, но я успел это подзабыть.

–Меня вытолкнули, – сказал я.

–А я что, виновата? Ну вы видите, что места нет...

–Не виноваты вы, – я вспомнил хорошее и стал улыбаться. Женщина смотрела на меня, как на больного. – Никто, понимаете, не виноват. Никто больше ни в чем не виноват, понимаете?

–Вы в своем уме?

–Да.

Она отвернулась и ехала дальше молча.

Мне нравилось говорить непонятно, это было единственное, что я мог себе позволить тут, в автобусе. И тот, к кому я должен был, в конце концов, прийти, тоже довольствовался

этим. Должен был. А в общем-то – мне нравилось просто быть тут, а не возиться со своими ребятами, притворяясь важным начальником. Не орать заученные и повторенные тысячи раз распоряжения. Трястись в Икарусе и чувствовать себя человеком. Н-да...

–Никто больше не виноват, – весело сказал я в спину пропахшего табаком старика передо мной. На меня стали оборачиваться. – Вы сами не понимаете, как счастливо живете последнюю неделю.

И тут слева и сзади так пахнуло кофе, дрянным растворимым порошком, что я вздрогнул и отпустил поручень, машинально поднимая руку навстречу запаху. Слишком долго я думал о кофе как о неотъемлемой составляющей жизни клиента. Слишком, наверное, напряженно готовился, хотя сам не желал в том признаваться. Сработал дурацкий рефлекс, которого по всему у меня не могло быть. Люди качнулись в стороны – еще бы им не качаться, когда рядом человек несет бред и машет на мужчину (теперь ставшего заметным в проходе) в черной куртке, с сокрушенным видом вытаскивающего из кармана разорванный красный пакетик. Рука мужчины вся была густо обсыпана мелким коричневым порошком.

–Что? – испачканный кофе пассажир поднял глаза. Кажется, он один не заметил моего жеста.

Я выдохнул. Клиент не ехал со мной рядом, не следил за моими выходками, не знал обо мне вообще. Глупое совпадение: пакетик порвался в тот момент, когда я бессовестно разглашал людям... а что, собственно, я им разглашал? То, что они сами обнаружат через день-два?... Нет, зря я испугался, непозволительно для меня.

Я огляделся, и они забыли обо мне, о моих странных словах, о моем испуге. А в женщине, что боролась за место, я увидел то, что искал всегда и чем занимался всю жизнь – нечто вроде желтого светящегося треугольника справа в душе; конечно, не совсем ровного, но все-таки треугольной формы. Не слишком большим он был, меньше прошлого, но упускать нельзя и такие; и я осторожно расправил его углы, заставив их стать ощутимыми и живыми. Когда я выходил, женщина писала на запотевшем стекле что-то, ясное только ей.

Тем временем

–Сосулька упала.

–А, – Женя отвернулась от окна. – Я думала...

–Что?

–Да ничего, наверное. Неожиданно просто было.

–Сегодня на Киевской огромная сосулька сорвалась, – вспомнил Всеволод. – Пробила стекло машины, я слышал. Потому что парковался мужик в опасном месте.

–Крыши чистить надо, – сказала Женя и сломала карандаш о четвертую страницу журнала. Под кроссвордом оказалась заложенная между листов линейка.

Всеволод рылся под прилавком, цепляясь собранными в хвостик волосами за жвачку. Эта жвачка, розовеющая на столешнице снизу, здорово раздражала, особенно потому, что делала прилавок похожим на парту. Впрочем, когда Всеволод учился в школе, таких жвачек еще не было. Зато в студенческие годы были.

Соскоблить же ее – в голову почему-то не приходило.

Снова гроыхнуло снаружи, после чего дверь открылась, и вернулся Ариман Владимирович. Как обычно возникла в потемневшем проеме фигура с ярким серебряным шарфом, который – Всеволод готов был поклясться – тянулся куда-то в пространство за спиной Аримана Владимировича на многие километры.

Потом, после того, как дверь была притворена, сквозняк исчез, шарф мгновенно улегся и стал обычным шарфом с серебристой ниткой, а черная фигура – обычным Ариманом Владимировичем в темно-сером пальто.

Жене еще несколько минут мерещилось, что шарф, занявший свое место на спинке стула, слегка шевелится и посверкивает. Так всегда бывало, когда Ариман Владимирович приходил.

– Нет никакого снегопада, – весело сказал обладатель шарфа. – И небо светлеет.

– А что сыплется в таком случае? – удивился Всеволод. Он тоже поглядывал на спинку только что занятого стула, словно ожидая от шарфа признаков жизни. Не дождался и успокоился.

– С крыши сыплется. Ветер-р, – Ариман Владимирович с наслаждением вытянул ноги. – Ветер сдувает снежную пыль, – возвышенно продолжал он, глядя в окно. – И бросает ее в потоки теплого воздуха, взмывающие... да, взмывающие вдоль стен.

– Какой там теплый воздух, – Женя поправила волосы. – Холодрыга зверская.

– А вот и неправда. Под нашей лавочкой теплотрасса, даже пол относительно теплый. Не говоря уже о батарее, хотя, согласен, не очень-то она греет...

Весь день хотелось спать, и что-то давило на грудь, мешая дыханию. Нервы, думала Женя, нервы, надо бы выпить что-то вроде валерьянки.

– Голодные мои коллеги, – Ариман Владимирович вытряхнул из пакета круассаны. – Разбирайте.

– А кому четвертый?

– Коту, – серьезно сказал Ариман Владимирович. – Шучу. Мне.

Серый безымянный кот в углу даже не шевельнулся. Кажется, ему одному было полностью хорошо, ничего никуда не давило, не было проблем с кошками.

Кот первые два дня после знакомства с Ариманом Владимировичем последнего терпеть не мог, шипел и прятался, потом необъяснимым образом полюбил. Почувствовал нечто мистическое в моем имени, говорил Ариман Владимирович. Родители-востоковеды дали ему древнеиндийское имя Ариман, которым он заметно гордился. Сколько лет было древнеиндийскому Ариману, он не сообщал; Женя давала ему пятьдесят, а Всеволод – от сорока до шестидесяти.

Он появился неделю назад. Материализовалось на входе огромное темное пальто, фантастический шарф, конец которого терялся за зданием банка на пересечении Красина и Подводников; кот панически ретировался под тумбочку, Всеволод принялся протирать запотевшие очки, Женя уронила со стойки ершики для трубок. Они его испугались, этого черного человека, вошедшего в стекляшку в третьем часу пополудни, в день первой оттепели февраля.

Ничего страшного в Аримане Владимировиче не было. Он шутил, вежливо флиртовал с Женей, рассказывал о курьезах судебной практики (до сокращения Ариман Владимирович был юристом).

Все они кем-то были до сокращения. В прошлой, докризисной жизни. Они еще иногда вспоминали о биологическом (Женя), юридическом (А.В.) и инженерном (Всеволод) прошлом. Кроме кота. Кот в прошлой жизни был муравьедом в Московском зоопарке, и нынешнее положение вещей ему нравилось больше.

Зашли двое – мужчина с девочкой, видимо, дочерью.

– Кофе? – Ариман Владимирович повернулся к приближающимся покупателям. Горестно всхлипнул офисный стул, держащийся на скотче.

– Нет, – посетитель осматривал прилавок. – Кофейный напиток... э-э... василек?

– Цикорий, – флегматично поправила дочь.

– Цикорий, – оскорбленно сказал Ариман Владимирович. – Скоро вы забудете, что такое кофе. Со здоровым образом жизни... Вам чистый, с черникой? С шиповником?

– Чистый, – Девочка принюхивалась к теплому кофейному запаху, закрепившемуся над прилавком Аримана Владимировича. – И давайте, действительно, кофе. Мокко, ага, давайте...

Женя, все время зачем-то неотрывно глядевшая в спину покупателя, порывисто обернулась и вышла наружу. За спиной у нее этот странный, интересный, веселый человек Ариман

шутил, доставая пакеты с мокко и цикорием. Ему везло в торговле, ему вообще должно было всегда везти.

Женя достала телефон, собираясь позвонить матери, и тут ее схватили за локоть. Она охнула, когда почувствовала, что ее кидают к стене, но закричать не успела. Прямо перед ней с шумом обвалился пласт смерзшегося снега, а в следующую секунду руки, выдержавшие Женю с опасного места, отпустили ее.

Она стояла, вцепившись в телефон, хватая ртом ледяной воздух.

–Фу-у, напугали вы меня... Все-все-все, дышите носом, просудитесь.

Мужчина. Высокий, с тонким, каким-то измученным лицом, в бежевой старой куртке с кучей карманов и застёжек, в вязаной шапке. В ярко-красных смешных перчатках.

–О, Господи, – сказала Женя. – Спасибо вам.

–Не за что, – спаситель стряхивал с рукава снежные крупинки. – Кстати, я не Господи, просто не люблю, когда на женщин что-то падает. Крышу не чистят, там же скоро айсберг образуется.

–Ага, – Женя посмотрела на крышу. – Почистим. Обязательно... Господи, чуть не убило этой... гадостью. Спасибо.

–Вам-то зачем чистить? – сделавший уже шаг ко входу мужчина остановился. – Пусть хозяева возятся, а нам, прохожим...

–Я, в некотором роде, хозяин, – вздохнула Женя. – Я тут работаю. Пойдемте.

Мимо них прошло семейство с цикорием.

Женя говорила, что снег, конечно, почистят и сосульки посбивают, и повторяла это невнятно по нескольку раз, пока не спохватилась. Пришла в раздражение от снега и собственной нелепости, да, пожалуй, от того, что сосульки надо было сбить давно.

–Посбивайте, – кивал мужчина. – А то несолидно. Называетесь "Респект", а на крыше Цейский ледник, вот-вот обвалится.

–Обвалится! – в сердцах сказала Женя. – Все здесь обвалится.

–Ну уж. Хотя у закона подлости нынче обострение.

А вот это он подметил просто гениально, подумала Женя. Не то что обострение – самый разгар.

Первым, что она увидела, было лицо Аримана Владимировича. На лице Аримана Владимировича медленно проявлялась улыбка. Росла и ширилась, явно обращенная к Жениному спутнику.

–Си-има, – растягивая «и», ласково сказал Ариман Владимирович. – Симочка... Какими судьбами...

Потертый Симочка обернулся, стягивая шапку. Волосы его были взъерошены.

–Сколько лет, – величественно сказал Ариман Владимирович, поднимаясь. – Я уж и не думал... Сима, как же хорошо, что ты зашел!

–Необычайно, – Сима приглаживал волосы. – Расчудесно, Ариман Владимирович, что я к вам зашел.

Какой-то он был хитрый.

Они крепко схватили друг друга за руки и трянули. Кот отчего-то завопил и утек на улицу.

–Как живете? – Сима принюхивался. Все принюхивались, оказавшись в кофейном отделе.

–Да я-то что! Работаю вот, на новой должности. А ты как оказался в наших краях? За табаком-кофе-кожей?

–За кожей, – сказал Сима. – И кофе прикуплю, раз уж вы продаете.

–А вот это хорошо, Сима, это правильно... Мой друг, – Ариман Владимирович указал на Симу жестом экскурсовода. – Мой старый друг Серафим Огнев.

Серафим Огнев оттаивал в отопленных недрах «Респекта». Нос его увлажнился от тепла. Ариман Владимирович выскользнул из-за прилавка, и они с Симой обнялись.

–А вы заняты сейчас? Посидеть бы, вспомнить...

Вообще-то занят, сказал Ариман Владимирович между дружескими похлопываниями и почмокиваниями. Вообще-то он здесь торгует и покидать рабочее место до восьми часов не намерен. Но ради старого друга готов намерениями своими поступиться, сказал Ариман Владимирович, не отпуская Серафимовской руки.

Женя часто видела его веселым, но сегодня Ариман Владимирович прямо-таки светился. И – странно – он не выглядел в этот момент красивым. Что-то иное ощущалось сейчас в нем, что-то жутко тоскливое, словно между ним и Огневым произошла в свое время такая же тоскливая, долженствующая быть забытой история, вроде не поделенной женщины или еще чего.

А Всеволод, разглядывая Симу, определил в нем не то слегка опустившегося учителя, не то библиотекаря.

–Пойдемте, Сима, поговорим... Вспомним, Сима...

–И обо мне вспомнит², – неожиданно зло сказал Сима, явно цитируя кого-то. Затем он сжал руку Аримана Владимировича, сильно, до болезненного хруста, дернул того к себе, и оба исчезли.

Серафим

–...вспомнит, – сказал я.

–Кто ты? Инспектор? Тебя что, разжаловали, ты, кажется, по части высоких чувств...

–Не паясничай, Денница.

Он посмотрел на меня убийственно.

–Почему Ариман? – спросил я, постепенно избавляясь от высокомерия. – Почему не Самаэль, в конце концов?

–Мне так хочется, – спокойно сказал он, и я понял – действительно, ничего другого за этим не стоит, ему так хочется. – Скажи, зачем ты все-таки пришел?

У него по лицу было видно, что знал он, зачем я пришел. Я ему сказал что-то такое, но оба мы не запомнили этого, потому что мой клиент решил уйти глубже в измерения. Мы провалились куда-то во Время.

–Объясни нормально, – Самаэль-Денница-Ариман совсем по-человечески потер переносицу. – Инспектируешь или хочешь что-то передать оттуда?

–Скорее второе. Тебе зачитать или своими словами?

–Ах, Сима... – он снова был Ариманом Владимировичем. – Недельку назад я бы тебе показал, как со мной на ты...

–Недельку назад, – признался я, – мне бы не пришло в голову говорить с тобой на «ты». И я бы долго думал, прежде чем вообще с тобой говорить. Так тебе зачитать?

–Все равно.

–Ну, если сразу и по сути... Ты будешь отправлен на разбирательство. По поводу нарушения условий содержания...

–Идиотская формулировка, – брезгливо сказал Ариман Владимирович. – Как будто я могу как-то влиять на условия содержания. Это вы меня содержите, а не я себя... тем более – вас. Прости, – он снова тер переносицу, похоже, у него там болело. – Говори-говори. Так о чем речь?

–О нарушении условий. С твоей. Стороны.

–Лучше зачитай.

Вокруг нас громоздились колеса, оси, цепи, о назначении которых я строил оскорбительные предположения: декорация и понты. По-моему, Самаэль (Ариман Владимирович?) был неравнодушен к стимпанку. Или я просто давно не бывал во Времени. Я помнил его другим.

– Торговец кофе Самаэль, вечноссылный, приглашается на рассмотрение дела о нарушении бессрочного ограничения силы, незаконной деятельности в ссылке, причинении мелкого зла, нарушении условий содержания, – (какого, трам-тарарам, содержания, читалось в глазах вечноссылного в этот момент), – Распространении...

Во Времени что-то со свистом оборвалось, и мы перебрались в бесформенные сугробы глубокой сферы, кажется, Вероятности.

Все-таки, он не изменился, мой клиент Самаэль. Хотя он странным образом стал казаться ниже, но лицо, глаза неопределимого цвета – не то зеленые, не то карие, не то вообще черные, – они остались прежними. *Tempora mutantur*, как говаривал Самаэль, а мы ни фи́га не *mutamur in illis*³. Так-то.

– Я понял, понял, – Самаэль поднял руки. – Формулировки у меня всегда были лучше. К слову так. На это все я тебе скажу, Серафим, что виновным себя не признаю и не являюсь. Вы меня сослали, вы и разгребайте свои проблемы, как это ваши хваленые Силы что-то недо-смотрели.

Терпения мне! – взмолился я внутреннему шефу. Побольше терпения, пожалуйста! Я отработаю!

Самаэль флегматично пинал небольшой сугроб.

Вызвать бы сейчас всех моих ребят, парочку из первой сферы – для устрашения, и ораву дармоедов из третьей; они, наверное, давно забыли, как я выгляжу; так вот, притащить бы их сюда, чтобы взяли они этого упрямого Дьявола за шиворот и доставили прямиком в конвент, вот тут-то мы и посмотрим, как ты заговоришь, Денница, Ариман, Мефистофель... Но нет – сам пришел. Доверил своих олухов какому-то херувимчику (холеный такой, розовый, похожий на толстозадых крылатых мальчиков Ренессанса, которые, кстати, к херувимам никакого отношения не имели) и выбрался на землю, потому что – ну как же! – высокое начальство лично хочет арестовать... бла-бла-бла... И то верно, если сейчас Самаэль разозлится, моим кадрам он, пожалуй, будет не по зубам.

– Пошли, – сказал я. – Мне надоело разговаривать.

– Не пойду, Серафим. Мне хорошо тут. На земле. Я ничего не нарушал. Я торговал кофе и флиртовал с хорошенькими покупательницами, – глаза его стали карими и печальными. – Если хочешь меня в чем-то обвинить, изволь собрать свидетелей, посвятить их, так сказать... Соблюдай закон, Серафим, или возвращайся к себе на Седьмое небо. А вести меня силой ты не имеешь права.

Я был к этому готов. Тем более, прав был бывший князь тьмы. Так и запишем в будущем отчете: следовать за Серафимом отказался, потребовал дополнительного следствия, каковое было произведено...

Будет произведено. Требования клиента надо уважать.

– Добро, – кивнул я. – Будут тебе свидетели. Возвращаемся.

– Постой, – Самаэль вдруг протянул тонкопалую руку и схватил меня за рукав. – Ты думаешь, я буду ждать тебя и бояться?

Теперь я точно буду так думать, решил я.

– Из «Респекта» вышел мужчина с дочкой. Бесценный свидетель обвинения. Уверен, ему будет, что предъявить мне. Кстати, у него начинается болезнь Альцгеймера. Заодно вылечишь его, Серафим.

– Зачем? Ты даришь мне свидетеля – зачем?

– Хочу поиздеваться, – спокойно сказал Ариман-Самаэль. – Хочу дать вам фору и выиграть. И посмотреть на ваши лица.

Мразь. Та еще сволочь. Он знал, что я не оставлю этого несчастного склеротика – или чем он болен? Альцгеймером? Что я специально найду его, чтобы проверить, не сделал ли с ним чего обвиняемый. И окажется, что не сделал. И он засвидетельствует все в лучшем виде. Я могу сейчас забыть о нем и спокойно искать еще одного свидетеля, но мне бросили вызов, и я, как последний архангел, подобрал перчатку и размахиваю ею перед собой. Шеф внутри меня добродушно бросил «Мальчишка!» и затих. И я, глядя в непроницаемое лицо Денницы, медленно кивнул.

Тем временем

–И обо мне вспомнят...

–Это откуда? – наморщил лоб Ариман Владимирович. – Знакомое...

–Кажется, Пушкин, – Сима огляделся в поисках поддержки. – «Пройдет он мимо вас во мраке ночи, и обо мне вспомнят». Не помните? – он смотрел на Всеволода и Женю.

–Не помню, – Всеволод пожал плечами. – Но где-то слышал.

Оксана

Я родилась двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. В день первого полета человека в космос. И в День Космонавтики я праздную свой день рождения, а Гагарина раньше в шутку называли маминым акушером. Я должна была родиться на неделю позже, но мама, услышав по радио о майоре Гагарине, не то переволновалась, не то слишком быстро бежала к тете Лизе на третий этаж, в общем, я родилась, когда первый космонавт только-только сошел со своей орбиты.

Отец в это время добирался на попутных машинах из очередного нефтяного городка, и, когда приехал, очень огорчился, что опоздал. Но имя мне придумал он. Десятого апреля позвонил маме и твердым голосом сказал, что если будет мальчик, назови Ильей. «А если девочка?» – спросила мама, которая хотела девочку. «Оксаной», – уверенно сказал папа. И я стала Оксаной.

Говорят, когда папа ворвался в комнату, на лице его читался главный вопрос: «кто?!» «Девочка», – и мама протянула пищавший сверток со мной. Тогда папа взял сверток на руки, стал качать и говорить «Ксана... Ксаночка...» Он знал, что мама назовет ребенка так, как он сказал. А еще он был без бороды тогда, а когда я начала его помнить – уже с бородой.

На фото отец совсем не похож на того, который был рядом. Он сам иногда смотрел и говорил: «какая милая пара» (на фотографии он был с мамой и со мной – двухмесячной). Но потом добавлял: «Только все будут думать, что ты ушла к другому». Действительно, ничего общего я до сих пор не нахожу в большом бородатом человеке в тяжелых очках и совсем молодом, тонком, в удивительных по тем временам очках без оправы, с одними дужками. Не знаю, что случилось с теми очками. Наверное, он их разбил, или зрение ухудшилось.

В три года я пыталась петь песни.

Мама перед сном пела мне «Спи, моя радость, усни» и еще что-то, а папа пел «А ты улетающий вдаль самолет...» и «На позицию девушка провожала бойца». Утром я вспоминала и пыталась воспроизвести. Музыку я, разумеется, не помнила, но помнила ощущение от песни – нежное или грустное, или гордое, или ритмичное такое. Никто не понимал, что я пою, но всем нравилось.

Мне крупно везло лет до шести, потому что я почти не ходила в детский сад. Я его ненавидела всеми фибрами, я впадала в истерику, когда меня приводили туда, к счастью – приводили редко. Обычно меня оставляли у тети Лизы.

Тетя Лиза сидела в декрете с маленьким Мариком, которого я не помню, будто и не было его. Меня не интересовал какой-то Марик. Квартира тети Лизы оказалась гораздо привлекательней. На стене висели две лисьих шкурки. Вспоминая их сейчас, я думаю, что это гадко смотрится – лисья шкурка, распластанная над диваном. К тому же, их явно ела моль. Но тогда я играла с ними, снимала с гвоздей, возила по полу, накидывала на себя сверху и притворялась лисой. Потом тетя Лиза вешала шкурки на место и уходила кормить своего Марика.

Это было прекрасное одиночество.

А еще я никогда больше не ела такого творога, которым кормила меня тетя Лиза. Ее муж работал в спеццехе молочного завода, обеспечивавшего продуктами горком. Творог, который он регулярно приносил, отличался от любого другого порядка на три. До сих пор скучаю по этому творогу.

Мама приходила обычно поздно, уставшая, но играла со мной до победного конца – пока я не засыпала. Засыпала я в давно уже не детское время, к великому возмущению отца, и маминым вздохам. Спрашивала недавно у мамы, помнит ли она. Помнит. У меня с детства был странный режим сна.

Однажды она взяла меня на спектакль, точнее, папа взял меня на спектакль, посмотреть, как мама играет. Что это значит, я понимала слабо. Мне представлялась мама с хоккейной клюшкой, или (о ужас!) с какой-то чужой девочкой, с которой она играет. Я плакала и боялась. Ничего страшного в театре я не увидела. Там ходили люди в глупой одежде и громко о чем-то говорили. Папа сидел со мной на руках, я послушно молчала – я вообще была тихим ребенком – и пыталась понять, зачем папа тычет рукой в сторону этих людей и шепчет мне на ухо: «Смотри, смотри, это мама, видишь?» Я не видела.

–Рано ей еще, – сказала мама поздно вечером, дома. – Зачем ты ее повел на «Обыкновенную историю»?

–Хотел показать, как мама работает, – оправдывался отец.

–Послушай, но тебе в пять лет было бы интересно смотреть «Обыкновенную историю»?

–Да, – сказал отец, пуская искорки из-под очков. – Я с детства интересовался советским театром.

Потом мне исполнилось шесть, и меня отдали в подготовительную группу детского сада.

Серафим

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня⁴, думал я, чтобы заполнить тотальную пустоту в голове.

И шеф молчал в глубине моей души, только иногда что-то тихо отмечал про себя, но служебных распоряжений не давал. Тут наложилось все вместе: сначала я пытался вспомнить третью строчку стихотворения того хромого поэта, который еще был похож на артиста Янковского: «Я не буду спать\ Ночью новогодней...»⁵ И вот дальше было что-то очень простое, но я его не помнил. Потом я предавался меланхолии и размышлял о том, что я со своей поэзией никуда не гожусь и никому не нужен, что было чистой воды кокетством по отношению к самому себе. Впрочем, я не пытался этого скрыть.

В общем, в девятый день золотого века, в феврале, я позорно предавался меланхолии со стаканчиком невкусного чая с лимоном. Сразу после того, как я купил этот чай в автомате, автомат сломался. Меня мучила совесть, что я, которому чай вообще-то не нужен, оставил без чая следующих желающих. А чинить технику – не мой профиль. Хорош Серафим, несущий добро.

За барскую шубу, за астму⁶...

Грязные мокрые голуби расступились, я вернулся к той остановке, на которой вышел. Собственно говоря, все развивалось, как должно. Диагностический визит к Ариману Владимировичу прошел, как и следовало ожидать, впустую, за разговором двух голословных сверхсуществ. У меня не было доказательств виновности, у него – невинности. Но формально я должен был его предупредить.

После суда его перехватят по дороге в камеру. Я спокойно сдам Дьявола с рук на руки молодчикам из Третьей Сферы, и будь он благословен, тот день, когда они развеют по ветру воспоминания о Самаэле, изрядно всем надоевшем. Будут ли они понимать, эти безымянные ангелы, какое великое время наступает на земле благодаря их простеньким копьям?

...На суде они толпились вдоль стен на самых дальних балконах – сплошная светящаяся масса. По-моему, никто из них за все время не издал ни звука. Неудивительно. Если на моей памяти – да на памяти всех нас, даже, может быть шефа, это дело не имело аналогов, если я – я! – стоял, опешив, и начал аплодировать машинально, просто услышав рядом осторожные хлопки, что уж тогда говорить о третьей Сфере?..

Снова пришлось карабкаться по снежным валам. В такие минуты я искренне жалею, что не умею проклинать. Проклял бы местную администрацию и безжалостно обрек бы всех поголовно на пожизненную чистку снега. Вместо этого я против всех правил обратил к свету одинокого бомжа, и он ушел с потрясенным лицом. Из-за этого бомжа я немного взбодрился. Даже тот факт, что еще день-два, и моя помощь миру не понадобится, как-то не огорчал. Трех свидетелей, обязательных для вынесения обвинения, мне нужно найти, вот чем действительно стоит сейчас заняться.

Нет, не троих. Двоих. Первый мой свидетель, навязанный мне Сатаной, жил – я без особого труда проследил его путь – на углу проспекта Подводников, что характерно – неподалеку от второго «Респекта». Хорошо, что в городе не было метро: вряд ли я угадал бы путь мужчины под землей. Да, серафимы тоже не всемогущи.

В такси гремело: «Мы себе давали слово! Не сходить с пути прямого! Но!.. так уж суждено...»⁷

–Испоганили город, – седой таксист в темных очках – глаза у него больные, что ли? – выворачивал руль, стараясь безболезненно миновать гору снега вперемешку с землей. – Двух бульдозеров бы хватило. Двух!

–Вы посмотрите, что в Питере происходит, – заметил я. – Как в блокаду. Транспорт не ходит, сосульками старушек убивает...

–Так то Питер. А нам бы два бульдозера! И неделю работы. Все, убрали бы это г...но с дорог. Это же не грязь даже, это канализацию прорвало, и г...но смешивается со снегом... и лежит. А нужно два бульдозера...

...Ах, как плохо мы выглядели в тот день. Четверо серафимов все как на подбор были сонными, светились едва-едва, и парой крыльев, предназначенных для полета, обмахивались, чтобы справиться с духотой. В Большом зале всегда душно. За нашими спинами сидели, о чем-то оживленно споря, херувимы и потерявшие всякую субординацию престолы. Ряд, положенный престолам на суде, из-за этого пустовал, а господства из второй сферы занять его не решились и кучковались в отдалении. Что было за ними, я не разглядел, да и не пытался. И так знал, что там плотно сгрудились все прочие, кроме, разве что, вышколенных архангелов, которые всегда держат строй и встают в присутствии Высоких сфер. Так, от первых рядов до балкона, сидели мы, а напротив темным склоном занимали симметричные ряды кресел всевозможные демоны, бесы, мелкие существа ада, такие же измученные бесконечной тяжбой.

Все знали, чем это закончится.

Растерянный паренек, мнущийся у своей трибуны, перейдет к невзрачному Каиму-дрозду, губернатору какой-то там дремучей области в каком-то там захолустном уголке пре-

исподней. Я еще помнил Каима среди наших, но уже не помнил, когда и в какой сфере. Давно он переметнулся.

Так вот, паренек перейдет, а мы покиваем друг другу и разлетимся, потому что эта заблудшая душа принадлежит Самаэлю по праву, чего уж там; он эту душу купил, а та взяла и заартачилась. Не она первая, не она последняя. Мои (или не мои?) ребята душу предупреджали, все по-честному. Сделка состоялась, и претендовать на законную покупку Дьявола никто не собирался. От нас требовалось присутствие на суде, небольшая формальная речь защитника – умницы Варахиила – и все. Лично я защитника не слушал. Впрочем, обвинителя я тоже не слушал.

– Это жена моя написала, – сказал таксист. – Вот хорошо же написала, правда?

– М-м? – я смутно припомнил, что таксист читал мне что-то вроде хокку. – Да. Прекрасно. Молодец ваша жена...

Древний «жигуленок» подскочил на лежащем полицейском, издал болезненный скрип и, кажется, лишился половины двигателя.

– Она не развалится? – напряженно спросил я, прикидывая, сколько времени уйдет, если что, на воскрешение водителя.

– Не говорите так никогда, – серьезно сказал таксист. – Какая гадость на дороге. Вот друг у меня в Америке живет, в Каламбусе, вот там снег чистят... и дороги там другие. Кстати, помните, был такой мужик на радио... как его... Валька-помойка. Тоже в Америке сидел. Он еще говорил: «Хорошие в Америке дороги, только куда они ведут?..» Вот я думаю...

...Никто ведь не заподозрил неладного, даже когда вышел истец. Некоторые удивленно подняли головы, проследили за движением Самаэля: черный свитер, черные брюки, чудовищный серебристый шарф, который, конечно, никакой не шарф. И отвернулись снова. Ну, редкий случай, на какие-то вопросы обвинитель не ответил и вызвал истца. Темная субстанция напротив всколыхнулась – бесы вставали, приветствуя командира.

– ...Знать бы точно, – сказал таксист. – А то голимо получается. Этот говорит, что взятку не давал. А Шишкин...

– Знать бы, кто виноват.

– А? Не, кто тут виноват, люди виноваты...

Ой, подумал я. Неужели мне вот так запросто повезло?

– Спрошу вас, как психолог. Если бы от вашего ответа зависела мировая справедливость...

– Что?

– Мировая справедливость. От вас требовалось бы только назвать виновного во всем, что мешает справедливости установиться. Кого или что вы бы назвали?

– Это у вас тесты такие? Понятия не имею.

– А если подумаете?

– Ха. Руку запада.

– Seriously?

– Нет. Не знаю.

Почему бы и нет? На стандартный вопрос ответил правильно, вел себя доброжелательно, к тому же его жена когда-то имела со мной дело. Правда, я об этом только сейчас узнал. Остается надеяться, что стихи вышли все-таки хорошие. Хотя кого я обманываю – все равно.

– Человек, сын человека, я, Серафим, призываю вас проникнуться любовью к добру...

...Мы начали прислушиваться только после того, как в зале прогрехотал жуткий бас Самаэля:

– Дрозд, отойди!

Каим быстро отодвинулся, разглаживая смятый воротник. Верхняя пуговица у него была вырвана с мясом – демон машинально пытался ослабить ворот. И не так странно было видеть

Каима-дрозда задыхающимся, вспотевшим, с истерзанным воротником, как самого Сатану, Самаэля, бегущего к трибуне обвинителя. И когда он грозно навис над трибуной, опираясь на нее, и объявил:

–Я требую следствия! – вот тогда мы поняли, что происходит нечто серьезное. Настолько серьезное, что мы, пожалуй, успели забыть, что нужно делать. Серьезнее, пожалуй, чем сумма всех наших бесчисленных дел последнего тысячелетия. Может быть, двух или трех тысячелетий.

Заблудшая душа нетвердой походкой удалилась под конвоем двух ангелов. Варахиил хлопал крыльями и жестикулировал так, словно собирался сам себе создать воздушный поток. Он уже знал, что войдет в историю. И все мы знали, что войдем в историю, хотя главное-то мы прослушали: какую ошибку заметил защитник в деле несчастного паренька, к чему придрался, как доказал это самому истцу.

Он мог остановиться на этом. Его носили бы на руках. Но он стал еще что-то кричать высоким от усталости голосом, и вдруг отовсюду грянуло (и мы засветились и встали, и я расправил шесть крыльев своих, и шарахнулось темное, бесформенное, испуганное – то, что было у противоположной стены):

–*Варахиил*, – и Варахиил замер. – *Не волнуйся*, – сказал шеф. – *Продолжай*.

...проникнуться любовью к добру, постигнуть... – я сообразил, что произносить это вслух не обязательно. И продолжил посвящение уже напрямую: «...знание, данное мне...»

Таксист попался на удивление крепкий. Он даже руль не выпустил. Обычно люди все-таки по-другому реагируют на свалившееся к ним знание о мирах с полным набором галактик, о нашей небесной конторе, о...

А он просто обернулся ко мне:

–Интересно, Серафим. Значит, правильно Таня моя молилась?

–Правильно, – сказал я. – Но молитвы не по моей части. По моей части вдохновение. А теперь еще и расследование.

–Зачем ты мне это все... дал?

–Идет следствие, – сказал я. – Следствие по делу Самаэля. Аримана. Я предлагаю тебе стать свидетелем обвинения, – сказал я. – Ты можешь отказаться. Тогда ты забудешь о нашем разговоре. Ты можешь согласиться. Тогда ты сначала расскажешь о той гадости, что происходит вокруг. А потом забудешь о нашем разговоре. И да, если хочешь, я могу тебя исцелить.

–Я не боюсь, – нахохлившись, вздохнул он. – Хотя, давай. Ячмень на глазу мне исцели. Я согласен стать свидетелем обвинения.

Оксана

В детском саду я влюбилась. Без памяти. Его звали Гриша, он учился в первом классе, а по вечерам забирал из садика некрасивую белобрысую Люську. Люська косолапила и, когда мы играли в трамвай, всегда хотела быть кондуктором. Я страшно ей завидовала, что у нее есть такой шикарный брат. В глубине души я даже надеялась, что Гриша однажды заметит меня и заберет вместо Люски. Он приходил обычно за полчаса до того, как папа забирал меня. Брал сестру за руку и бубнил что-то вроде «пошли, дармоед». Это было его любимое слово «дармоед». Оно не изменялось по родам, что было особенно восхитительно. Он, она, оно – дармоед. Я этого не понимала, но чувствовала. Прекрасное взрослое слово. Сейчас я думаю, что так называли дома его самого.

Иногда папа приходил пораньше и забирал меня до того, как я видела Гришу. Я старалась не плакать. Любовь была чем-то особенным, о ней нельзя было плакать для всех. Можно было плакать для мамы – очень редко, для Женечки – моей подружки... и для уродины Люски. Все-таки это был ее брат. Ей можно было иногда поплакать о том, как я люблю Гришу.

Я знала о нем все.

Гриша хотел стать военным моряком, получал пятерки по пению и тройки по арифметике. Он умел писать, но путал «ш» и «щ». Я тоже их путала, но я-то была в подготовишках, а Гриша учился в школе. И у него был друг Борька. Вроде бы, лучший.

Это все мне великодушно рассказала Люська. Я дала ей побыть кондуктором, хотя очередь вообще-то была моя, а она мне за это рассказывала о Грише.

Как сделать так, чтобы Гриша меня заметил, я начала догадываться в декабре. Тогда стало ясно, что у меня будет к утреннику самый лучший костюм: из настоящего театра. Мне готовили костюм Золушки. То есть «готовили», конечно, громко сказано. Мама раздобыла в своей костюмерной детское платье и одолжила у кого-то из коллег по цеху бутафорскую тыкву.

План был прост: одеться неотразимо и потрясти Гришу своей внешностью. Гриша должен был прийти за Люской раньше, чем папа за мной. Он увидел бы меня-Золушку... а что предполагалось дальше, я не придумала. Виделось что-то сказочное: мы с Гришей танцуем странный, мной самой сочиненный танец, мы с Гришей держимся за руки – как в хороводе, но в хороводе меня обычно держали за руку неинтересные мальчишки.

Когда я переделалась в сиреневое платье с оборочками и кружевами, все ахнули. Еще бы им не ахать. Второй (после меня) красавицей была Женечка, снежинка, но на удивление интересная, не бело-тюлево-абажурное чудовище, наподобие снежинки Люськи или снежинки Галки, а изящное существо в тонкой балетной пачке, волшебным образом держащейся всегда плоско, с вышитым узором, в кокошнике со звездочками. Я ее пожалела. Женечка отлично смотрелась в своей снежиночье пачке. Она была не виновата, что весь зал с первых минут принадлежал мне.

А главное – лампочка! Лампочка, выдернутая из папиного фонарика. Она предназначалась Грише, хотя я подозревала, что не решусь ее подарить. Но лампочку взяла с собой: а вдруг.

Золушка... Я где-то посеяла тыкву, мне за нее влетело дома, причем от папы, которому тыква была совсем чужой. Мама просто объяснила мне, что терять тыкву нехорошо. А на этом балу – а это был бал, какой там утренник – я была Золушкой, настоящей. Дед Мороз в обмен на «Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка» дал мне коробочку с мандаринами (или апельсинами?), парой «Мишек на севере» и кучей карамелек. А я ждала, когда все закончится и придет Гриша. А Гриша не пришел. Люськины родители долго разговаривали с воспитательницей, потом стали Люську уводить. Ко мне приставали двое глупых мальчиков, Юра и Паша, я им нравилась. И тут Люська догадалась подойти ко мне попрощаться. Точнее, ее мама догадалась сказать: поздравь девочку с Новым Годом. И меня осенило. Я сунула Люське лампочку и тихонько попросила подарить Грише. Жаль, конечно, что я его не увидела, но передать лампочку через сестру – чем не вариант?..

Люська стояла в своем платье и с лампочкой в руках, как электрическая фея.

–У меня отнимут, – сказала она.

Тогда мы общими усилиями запрятали лампочку куда-то в оборки Люськиных кружев, и сестра моего возлюбленного убежала к своим.

Две недели я была абсолютно счастлива. Я представляла, как Гриша смотрит на лампочку и думает обо мне. Или что-то такое. Не помню.

В начале января нашлась тыква. Ее отдала папе уборщица, когда он привел меня в садик. А Люську привела мама, увидела меня, быстро цапнула дочь за руку и начала строго внушать, что со мной дружить нельзя ни в коем случае.

Оказывается (как объяснила Люська через минуту), лампочка разбилась по дороге, порвала платье и чуть-чуть не поцарапала его обладательницу. Родители хватались за голову и добивались ответа: кто дал дочери эту ужасную штуку. Под пытками Люська раскололась.

Я заплакала от обиды. Моя любовь разбилась в кружевных недрах тюлевой снежинки. Дура и уродина Люська узнала о том, кто она. Потом Гриша пришел, но я надежно спряталась за фанерным домиком.

В третьем классе я снова встретила его. Он перешел к нам из сороковой школы. Там его оставляли на второй год, так что мы с Гришей сравнялись в статусе и учились в одном классе. Учился он, что интересно, неплохо, хотя и отставал немного по арифметике. Мы наконец-то познакомились и подружились.

Я была ударницей. В смысле оценок. В музыкальном смысле я была никем, мама с грустью диагностировала у меня полную музыкальную безнадежность.

Смешно сказать – из всех своих школьных лет, до десятого класса, я помню только нашу классную Эллину Аркадьевну. Она преподавала русский язык. И то – может быть, только потому я ее помню, что она пыталась втянуть меня в какую-то самодеятельность.

–Ты же дочь актрисы! – упрекала меня Элина Аркадьевна. – Почему ты читаешь без выражения?

А я читала с выражением, просто во всех строчках выражение выходило одинаковым.

К тому, что моя мама – актриса, я относилась спокойно. Не знаю, почему, но я не гордилась таким вот происхождением. Скорее всего, потому, что мама играла в непонятном взрослом театре. Когда я выросла, мама ушла из театра. Вдребезги разругалась с режиссером, который не давал ей ролей, хотя все тихо знали, что у мамы с ним роман. Тогда же эта история добралась до папы, и мои родители расстались в первый раз. Но это было потом.

Элина Аркадьевна всерьез загорелась идеей вовлечь наш (какой? пятый? шестой?) класс во всяческую дополнительную активность. Половина мальчиков (Гриша, кстати, в их числе) была определена в спорт. Это означало, что как личности они абсолютно бесполезны для общества, но чем-то же они должны в жизни гордиться. Вторая половина мальчиков и все девочки должны были гордиться актерским талантом.

Меня призывали в спонтанно созданный драмкружок.

Элина Аркадьевна критически осмотрела меня и каким-то своим чутьем определила во мне лису. Вороной был Шура Бережкин. Он играл лучше всех. На одну из репетиций Шура притащил отвратительную черную тряпку и треух. Треух он залихватски надел набекрень, в тряпку, отдающую гнилью, завернулся, взгромоздился на ель-стул и укусил Оленьку.

Вошел в образ.

Что заставляет меня с нежностью вспоминать Эллину Аркадьевну – так это то, что она назначила человека на роль сыра. Толстая, неповоротливая и глуповатая Оленька (забыла фамилию) пообещала одеться в желтое и притворяться сыром. Другого от нее не требовалось, да она бы и не смогла ничего другого.

Второй раз в жизни мне искали сценический костюм. Но мама в ту пору уже кантовалась без ролей, у папы был временный кризис в редакции, и мы дружно решили обойтись без затрат. Мама принесла меховой воротник, а хвост мы с папой сделали из тонких ленточек кальки. Когда я пыталась его покрасить оранжевой ленинградской акварелькой, он сваялся, и пришлось хвосту стать воротником, а воротнику, как более убедительному, перейти в хвосты.

На этом создание костюма завершилось.

На второй репетиции я стала спортивным сектором.

–Играй, – воодушевленно втолковывала мне Элина Аркадьевна. – Не бормочи, Кольцова! Ты хитрая лисичка, разговаривай так, как будто ты уверена, что всех сможешь обмануть!

Шура бесшумно, но наглядно изобразил тошноту от слов Элины Аркадьевны. Я была благодарна ему за поддержку, но играть все равно не получалось. Как нужно говорить, я прекрасно знала. И взгляд у меня был правильный, лисий, а вот вместо слов все равно выходило монотонное: «иверноангельскийбытьдолженголосокпойсветик...»

А я думала, что Бережкин слишком вытягивает ноги на стуле-дереве, будто он не ворона, а страус. И Катя читает текст от автора, полностью заслоняя меня и нелепо заплетая ноги.

–Кольцова, – грозно сказала Эллина Аркадьевна в ответ на мою попытку обратить на это ее внимание. – Научись играть сама.

–Меня не видно... – робко заметила я.

–А ты говори громче, и все будут на тебя смотреть.

–Но лучше Катя встанет сбоку...

–Так, – Эллина Аркадьевна шутливо съездила меня по затылку. Она часто так делала, и никто не обижался. – Давай-ка ты будешь стараться, и у тебя получится твоя роль. А Катя будет стоять посередине, потому что она от автора.

–Ну и что, что от автора?

–Как что? – драматично зашипел на весь класс Бережкин. – От *самого* автора! Крылов послал!

И он схлопотал такой же мягкий подзатыльник.

Но однажды Эллина Аркадьевна заболела, и передала бразды правления драмкружком какой-то старшекласснице. Та сказала нам «не шуметь!», повертелась перед зеркалом и ушла целоваться с одноклассником на задний двор.

–Ну, лафа началась, – сказал Шура и закинул свою воронью тряпку на лампу.

И тут я почувствовала, что, пожалуй, Катя могла бы разок и подвинуться к краю условной сцены. Катя пожала плечиками и фыркнула: «вот еще!»

–А Ксанка дело говорит, – по-вороньи каркнул Бережкин. – Катюх, отойди.

В конце концов, я переделала спектакль полностью. Оленька, топтавшаяся возле Шурино стула, теперь сидела на парте, а Шура стоял над ней, скрестив руки и поглядывая на Оленьку-сыр с гордостью и хищным предвкушением. Катя говорила текст от автора, выходя из глубины сцены и потом снова уходя. А главное – я сама заиграла! «Спой светик, – проникновенно говорила я. – Не стыдись! Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица!...»

Все закончилось просто. Эллина Аркадьевна выздоровела и пришла смотреть, не забыли ли мы текст. Был негромкий, но обидный скандал, после которого я вылетела с главной роли на роль голоса от автора, а новоиспеченная лисица Катя стала требовать мой костюм. Эллина Аркадьевна ее поддержала, но я вцепилась в костюм руками и ногами, сказала, что дома его не разрешили никому давать, выслушала обвинения в буржуазных наклонностях своих родителей и сбежала из кружка к спортсменам.

Спортсмены приняли меня дружелюбно, и о своем неудавшемся театральном опыте я больше не вспоминала.

Серафим

–Во-первых, Земля – один из тысячи четырехсот одиннадцати религиозных миров. И это только в вашем измерении, в остальных четырнадцати их от полусотни до миллиарда. Вы это учитывайте. А во-вторых, не факт, что вы просили искренне.

–Конечно, не факт. Но, по-моему, все-таки искренне. Для меня было важно тогда...

–Вам бы поговорить с моим коллегой. Я мог бы вам помочь, если бы у вас были претензии к ушедшему вдохновению. Но стихи писала ваша жена, а не вы.

–Но я верующий человек! И я за всю жизнь единственный раз пошел и помолился настоящему, еще при Союзе, меня бы выгнали из комсомола, если бы узнали...

–Ну да, – согласился я. – Комсомол. Как там у того, носатого такого, с выпирающим подбородком... «Пятигранную стелет звезду Коминтерн Молодежи»⁸...

–Это стихи?

–Да, кусок. Не помню все.

–Ладно, – таксист зевнул. – Что тут поделать. Вы не обижайтесь, но жаль, что меня завербовали вы, а не ваш коллега.

Мне стало его жалко.

–К тому же, – продолжал он, – Я не уверен, что вы не банальный гипнотизер. Да, конечно, я все это знаю – и про миры, и про Серафимов, и про Престолы и Власти, и вообще... Но вы же мне это не доказали. Вы же мне это просто перелили в голову. Может, это я в трансе сейчас, а вы продаете мои почки какому-то барыге из Португалии...

–Почему Португалии? – изумился я.

–Или из Греции... какая разница. Иностранному какому-нибудь барыге.

–Ну уж...

–Да не сердитесь, – он подкрутил радио. – Я же вам все равно верю. Просто доказательств у меня нет...

–Ну, это просто, – с готовностью сказал я. – *Prima autemet manigestior via est, quae sumitur ex parte motus*⁹...

–Нет-нет, не надо, говорю же – верю. Как тебя зовут? – видимо, я стал достаточно близок ему, чтобы перейти на «ты».

–К чему тебе знать мое имя? Оно чудно¹⁰.

–Ладно. Серафим, вот ты скажи – я в Бога верю, грешу, конечно, но понемножку, не убивал никого, не воровал, жену свою люблю. Мне за это воздастся?

–Конечно, воздастся, – сказал я.

–Всякому по вере?

–Да нет, – я пожал плечами. – Мне как-то все равно, верят в меня, или нет. Добро и зло, уж простите, от веры никаким образом не зависят, они для всех примерно одинаковые.

–Ну, не скажите. Для кого-то съесть врага – добро.

–Мы не занимаемся вопросами гастрономии. Это вы уж сами как-нибудь разберитесь, кто кого должен и не должен есть. А для нас важно – умеете вы отличить друга от врага, или нет, – надеясь, что еще одну банальность шеф вытерпит. Впрочем, разбираться со стилем всегда доверяли мне самому.

–Понятно, – сказал таксист.

Все-то ему было понятно. Он мне уже не нравился. На все-то он был согласен. Второй свидетель обязательно будет интеллектуал, решил я. Обязательно будет интеллектуал и гуманный. С ними веселее и приятнее, и можно будет даже предложить ему заранее какую-нибудь маленькую должность, вроде лучника или посыльного, не все же гонять моих охламонов. И когда интеллектуал отдаст концы (не скоро, конечно, по новым-то правилам, но все-таки) я бы лично за него поручился. Я, к своему стыду, еще ни разу ни за кого в своей долгой жизни не ручался, в отличие от одного коллеги, который успел обогатить с полдюжины миров своими протезами. Ни один из них, правда, на Земле не жил.

А этот человек затормозил у самой зебры, и бурая снежно-грязевая жижа взлетела из-под колес, обрызгав женщину в меховой шубе.

Как раз в том момент, когда я, задумавшись, стал прикидывать, мог ли Ариман-Самаэль точно так же завербовать агента. Версия выходила расчудеснейшая, вот только вечная ссылка предусматривала еще и полное лишение всяческой силы. Единственной радостью жизни, отво-
еванной у ошалевшего суда, был шарф – хотя какой он шарф... Но, в порядке бреда, вполне могло случиться так, что Ариман Владимирович подвигнул человека к сотрудничеству безо всякой мистики, одним лишь своим умением вдалбливать в человеческие головы все, что ему, Ариману, пожелается. Тут нужно было задать следующий вопрос: и что завербованный *homo sapiens* начнет делать? как он будет нести в мир зло, со своими-то хомосапиенскими возможностями? – но как раз этот вопрос я себе не задал, а задал другой, вслух:

–Вы смотрите, где тормозите?

–Грязь, сука, – печально сказал шофер.

И тут включилась обрызганная женщина.

Чего мы наслушались! Семьдесят два земных демона, да и сам Самаэль, пожалуй, позавидовали в этот момент зеленоглазой шатенке лет тридцати пяти, которая еще не успела стереть с лица брезгливое выражение, явно сопутствующее ей всегда, но уже с неподражаемой интонацией выдала великолепный поток брани, банальных, но метких пожеланий в адрес личной жизни – моей, таксиста, машины, дороги и абстрактной злой силы – невезения.

У нее была прекрасная лисья шуба, и по этой прекрасной шубе стекали комки отвратного месива. Та еще гадость.

Таксист угрюмо посмотрел на женщину и пожал плечами.

И я жутко разозлился на своего первого свидетеля обвинения, обращенного к добру и познавшего тайные механизмы, управляющие мирами. И даже перекосило от жалости к этой зеленоглазой женщине, уже, наверное, почувствовавшей, как это противно – мокрые комки на лисьей шубе.

Не пуская больше в голову ни раздумий, ни здравого смысла, я отпустил до предела стекло, высунулся и закричал женщине:

–Кто виноват?! Кто в этом всем виноват?!

Набериус

Особенно хорош был табак. Он стоил какой-то мизер, смешно сказать, и по всему должен был быть или пересушенным (ибо откуда хорошая упаковка у дешевого табака, откуда, спрашивается, взяться ей?), или пропитанным ароматической смесью, от которой за версту несет химией и горечью. Но смесь «виржинии»¹¹ с черт знает чем давала тонкий хлебно-орехово-фруктовый привкус, который Маркиз быстро классифицировал как охренительный. Помимо охренительного табака был еще аналогичный же коньяк, какой-то молдавский. И тоже не очень дорогой.

В кои-то веки выдалось время по-человечески покурить.

Маркиз покуривал трубку, попивал коньяк, сам над собой издевался за верность штампам и с усердием, какое рождается только большой ленью, заштриховывал белого аиста на этикетке молдавского коньяка черным маркером.

И чьих не обольстит речей нарядной маскою своей?¹² – думал Маркиз. Час уже вертелось в голове это стихотворение.

День был подпорчен сначала щенком-гимназистом, обратившимся с нелепой просьбой: помочь составить письмо-признание к возлюбленной. Маркиз выпроводил его и плюнул вслед.

Мельчаю, подумал он тогда.

Потом звонила Марта. Бедная Марта, которая так и не смогла понять, что сделал и чего не сделал для нее коротко стриженный темноглазый мужчина с благородными чертами лица, но сломанным носом. Марта сама запуталась в том, что требуется говорить в таких случаях; то благодарила за прекрасные минуты, то просила вернуться. Она не плакала, и это уже в который раз вызывало у Маркиза восхищение. Но вернуться он никак не мог, потому что не любил Марту, и только сказал ей:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.